

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ



Василий Ключевский

Ключевые слова: исторические воспоминания, Евгений Онегин, Онегины, новое образование, общая история, русская действительность, воспитание, общественная жизнь, социальное развитие.

День памяти Пушкина — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился немного лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живёт и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно уж нет, в этих словах нам чуялось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.



В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свежавших ощущение молодости, трудно припомнить и ещё труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью: мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления, как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения, как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не комментировали его как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолётное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития,

как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевно-сти лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в её несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали *Онегина*, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал *Онегина*. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила *Онегина*, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая *Онегина*, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожащим гибельным мостком», по которому мы переходили через кипучий тёмный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не цenia его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 года воспиталось поколение, которое уже не застало *Пушкина* в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую, немножко сантиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами 10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди не умолкнувших ещё споров о *Пушкине*. Молодёжь, которая принималась

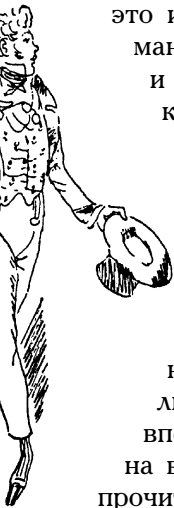
НАСЛЕДИЕ

за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были принесены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда о *Пушкине* вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния ещё не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Всё это я счёл не лишним припомнить и напомнить о годовщине смерти *Пушкина*. Ведь мы собрались, чтоб оглянуться на полстолетие, протёкшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас поэт в это полстолетие. Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из вас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редущего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них *Пушкин* со своим романом.

Помню ещё, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем, Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли любили его, а наши сверстницы, наверное, не влюбились в него, как влюбилась Татьяна, Но и мы, и они любовались им; он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Ещё менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество, этот «чужак печальный»

и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож». Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действительности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что это и не сказка, что герои этого романа существовали на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое нам время.



Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новых литературных впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечатления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите: что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной отпелся известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, уходящей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, а в лице *Обломова*, кашляя и кашляя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как

в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нём; нам было прискорбно чувствовать, что это лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца *Онегина*, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещавшее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее разбирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шёл вровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идёт мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя, и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени, и сам поэт не думал изобразить его таким. Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться, и всё у него выходило как-то нескладно, не вовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлаждённым умом и угасшим сердцем, он начал жить, т.е. жечь жизнь, когда следовало учиться; приниматься учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, когда это было нужно, из чванства же поспешил влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поехал по России; от нечего делать вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не закончив повести,

бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким бестолковым существованием. Добрые люди в деревенской глуши смирно сидели по местам, досиживая или только ещё насиживая свои гнёзда; налетел праздный пришлец из столицы, возмутил их покой, сбил их с гнёзд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил этот не то от себя, не то от лица Татьяны:

**Что ж он, ужели подражанье,
Ничтожный призрак иль ещё
Москвич в Гарольдов плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон...**

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробраться украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так *Онегина*, мы всё более убеждались, что это очень любопытное явление, и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но всё это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, всё таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом, вы позволите неумелю рукой перелистовать перед вами эту родословную Онегина.

НАСЛЕДИЕ

Всего усерднее прошу об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явления. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного воспроизведения, Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных и опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудачки, сидела прямо и спокойно, как её усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного сословного происхождения: предки Онегина все принадлежали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные

позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII века. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежде пришло из Византии. Первым восприёмником и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сменявшихся общих положениях сословия. Но, повторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII века, около конца Алексея царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб Злобин сын такой-то, был ещё нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы посторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооружённых холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на частных деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской, в Москве, к учёному киевскому старцу «учиться по латиням». С кислую гримасой



принимался он за «грамматичное ученье» и то твердил по ходячим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литерами: *ликос* — волк, *луппа* — волчица, *спириды* — лапти, *офмра* — молебен, *препосит* — боярин, *нектар* — пиво; то в ужасе от мысли, что всё это ляхо-латинская ересь, неистово рвал свою грамматичку и бежал к туземным благочестивым старцам каяться в соблазне, но, успокоенный батогамы, снова принимался твердить: *онагр* — дикий осел, *претор* — губная изба, *фулузур* — молния, *скандализи ме* — соблажняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии, внушал ему католические мнения о пресуществлении святых даров и об исхождении святого духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист пресвятой богородице или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латинисца с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приёма и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учёности и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже подпадали под действие закона 1714 года об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств являлись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жён, отправлялись за море для науки под наблюдением

комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякие пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марселю, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и механике, наукам «философским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должны были посещать австрии и «редуты», т.е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя трудить, а всё-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят: да без дела сидят, потому что языков иноземных не разумеют и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных похода-тайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова или у самого генерал-адмирала Апраксина взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь науке сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался, и даже не один, прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это всё равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобразователя, был послан в Голландию, забежал перед отъездом к доброй императрице, которая «на всякую нужду» дала ему 5 червонных, около 100 руб. на наши деньги; в Амстердаме учился лучше многих и преимущественно дельным наукам, которые наиболее ценил преобразователь, даже рапортовал местному русскому послу, что отказывается от шпажного и танцевального ученья, «понеже оно к службе его величества угодно быть не может»; вернувшись в Петербург, успешно сдал экзамен членам адмиралтейской коллегии, определился к делам, служил усердно, чая воздаяния, и тут

впервые заметил, что времена переменялись. Великого императора уже не было в живых. Навигацкие науки уступили место иным вкусам. В Петербурге высшее общество дорого платило немцу за то, что «в барабаны бил и на голове стоял», и наш навигатор, попав в общество своих сверстников, очутился между двух огней. Одни, после Петра заболевшие тоской по родной старине, встретили его насмешками и ругательствами за «европейский обычай», привезённый им из Голландии; другие, одержимые вождением к новизне, преследовали его кличками неуча, деревенского мужика за недостаточный запас европейского обычая, им привезённый, за незнание модного катехизиса, которым вменялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным; предписывалось намерения свои скрывать, губ рукой не утирать, в сапогах не танцевать, встречному знакомому приятным образом шляпу снимать за три шага, ни ближе ни дальше, и глядеть на него весело и приятно, с благообразным постоянством. К тому же ближайшие сотрудники Петра скоро перегрызлись. На их места явились неведомые люди из Митавы и Германии, алчные, подозрительные и жестокие. От них пострадал и наш навигатор. Раз на святках он отказался нарядиться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чёртом и в очень прохладном костюме заставили простоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскалённые иглы и калекой



отпускал в деревню, где он при малейшем промахе дворовых выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: «Ах вы, растрепоганные, растреокаянные, непытанные, немученные и ненаказанные!» Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция *Жизнь Александра Македонского* в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезённые им из Голландии математические и навигацкие познания остались без употребления. К русской действительности этот учёный русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об её угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь копил небо, созерцая звёзды.

Отцы Онегиных начинали своё воспитание при императрице Елизавете, кончали его при Екатерине II и доживали свой век при Александре I. Их детство протекало под впечатлениями весёлой светской жизни, получившей «своё основание» под покровом доброй и умной дочери Петра. То было время отдыха от ужасов бироновщины; тогда начал развиваться в обществе «тонкий вкус во всем и самая нежная любовь, подкрепляемая нежными и в порядочных стихах сочинёнными песенками, тогда получила первое над молодыми людьми своё господство». Молодые дворяне, хорошо пристроенные в столи-



це, 5—6 лет записанные в гвардейский полк рядовыми, лет 15 производились в офицеры, допускались на французские комедии, дважды в неделю дававшиеся на придворном театре, бывали на детских балах, где в присутствии императрицы танцевало пар по 50 детей, строго выдерживая все attitudes взрослых господ и госпож, участвовали в вельможеских бал-маскарадах, длившихся по 48 часов сряду, приветствовали русских барышень, которые привозили из Лондона невиданные в Петербурге английские контрадансы и за то на много дней становились героинями столичного света. Из сферы весёлых лиц и речей они нечувствительно переносились в сферу приятных книг и идей. Закон 1714 года не прошёл бесследно. Правда, теперь уже не требовалась петровская военно-техническая выучка, любимая навигацкая наука преобразователя упала при его дочери, не любившей моря, кадетов шляхетского корпуса на целые недели отрывали от учебных занятий, заставляя их разучивать и играть новую трагедию Сумарокова. Но обязательное обучение, не давая значительного запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, Делало её привычною со словною повинностью, а потом светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь, хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе. К 6-летнему гвардейцу выписывали сперва из Берлина m-me Ruinau, потом из Парижа m-lle Berger подороже, наконец, m-r Raoult ещё дороже, потому что он не только мог преподавать 1e français, «но и в том, что называется belles lettres, был гораздо сведущ». Отец выписывал для сына из Голландии, приюта французских мыслителей, библиотеку assez bien choisie из лучших французских поэтов и историков, и лет с 12 гвардейский сержант уже осваивался с Расином, Корнелем, Буало и даже с самим Вольтером. В царствование Екатерины он подходил к самым источникам света. По желанию

самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера с толпою других молодых офицеров, «жадничавших» видеть философа и слушать его разговоры, не миновал и «ада молодых людей», как тогда звали Париж питомцы петровской школы, бывал на ужинах, где два философа, три *dailies d'esprit*, один еврей, один капеллан с православным секретарём русского посла и с швейцарским капитаном-кальвинистом часа по четыре сыпали *bons mots*, рассказывая анекдоты, рассуждая о бессмертии души, о предрассудках, о всевозможных вопросах науки, морали и эстетики. По возвращении в Россию, покинув службу в гвардии, он занял административную должность, но не мог привыкнуть к делам, переехал в свою губернию; задумав служить по выборам, был выбран в дворянские заседатели совестного суда, но соскучился, дожидаясь дел, которых в три года поступило ровно три и не было решено ни одного, пробовал заняться сельским хозяйством, но только сбил с толку управляющего и старосту, хотел по крайней мере пожить весело, окружил себя шутами и шутихами, составил себе выездную свиту из арабов, башкир и калмыков, потчевал гостей частыми обедами, балами и псовой охотой с дворовою музыкой и цыганскою пляской и, наконец, устав и заглянув в долговую книгу, махнул на всё рукой и окончательно переселился в деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолирования себя от русской действительности. Здесь он вечно пасмурным брюзгой уединился в своём кабинете:

**С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.**

С этой книжкою в руках где-нибудь в глуши Тульской или Пензенской губернии он представлял собою очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — всё было чужое, привозное, всё влекло его в заграничную даль, а дома у него не было живой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьёзным. Он принадлежал к сословию, которое, держа в своих руках огромное количество главных производительных сил страны, земли и крестьянского труда, было могущественным рычагом народного хозяйства; он входил в состав мест-

НАСЛЕДИЕ

ной сословной корпорации, которой предоставлено было широкое участие в местном управлении. Но своё сельское хозяйство он отдавал в руки крепостного приказчика или наёмного управляющего немца, а о делах местного управления не считал нужным и думать; ведь на то есть выборные предводители и исправники. Так ни сочувствия, ни интересы, ни воспоминания детства, ни даже сознание долга не привязывали его к среде, его окружавшей. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферою, пропитанною развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Всю жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещённом обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нём перодедого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нём, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении. Некоторые действительно не выносили его и пускали себе пулю в лоб, но это были редкие люди, которым не удавалось вполне уединить себя от действительности, которые не умели заживо бальзамировать себя, чтобы защитить своё мертворождённое мирозерцание от разрушительного действия времени и свежего воздуха. Большинству людей этого рода удавалась операция такого бальзамирования довольно легко, без мучительных кризисов, без потуг тоски и даже скуки. Заурядный



екатерининский вольнодумец оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступала пора серьёзно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нём на чужом языке, переводя туземные русские понятия на иностранные речения с оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все русские понятия с такою оговоркой и с большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранные речения, в голове переводчика получался круг представлений, не соответствовавших ни русским, ни иностранным явлениям. Русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял самую способность понимать её. Ни на что не мог он взглянуть прямо и просто, никакого житейского явления не умел ни назвать его настоящим именем, ни представить его в настоящем виде и не умел представить его, как оно есть, именно потому, что не умел назвать его как следует. В сумме таких представлений русский житейский порядок являлся такою безотрадною бессмыслицей, набором таких вопиющих нелепостей, что наиболее впечатлительные из людей этого рода, желавшие поработать для своего отечества, проникались «отвращением к нашей русской жизни», их собственное будущее становилось им противно по своей бессмысленности, и они предпочитали «бытию переход в ничто». Но это были редкие случаи. Большинство, более рассудительное и менее

нервное, умело обходить этот критический момент и от непонимания переходило прямо к равнодушию. Очувтившись при помощи своеобразного метода изучения родной земли между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния — с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, природный сын России, подкинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решал, что порядок в России есть *assez immoral*, потому что в ней *il n'y a presque aucune opinion publique*, и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать всё, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению. Чтob оправдать это пренебрежение к отечеству, он загримировался миной мирового бесстрастия, мыслил себя гражданином вселенной, космополитизируя таким образом очень и очень доморощенный продукт, каким он был на самом деле. Так, он создавал себе «своевольное и приятное существование». Вольные мысли, которые он черпал из привозных книг, рассеивали его житейские огорчения, сообщали блеск его уму, украшали его речь, даже порой потрясали его нервы: космополитический индифферентизм не мешал литературной впечатлительности, не подавлял воспитанной чувствительными романами времён Сумарокова склонности к отвлеченным, беспредметным восторгам. Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так легко и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого века, — плакал, и только. Эстетические восторги и стереотипные философические слёзы были только патологическими развлеченнями, нервным моционом, но не отражались на воле, не становились нравственными мотивами. Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал



и перечитывал страницы о правах человека рядом с русской крепостною девицей и, оставаясь гуманистом в душе, шёл в конюшню расправляться с досадившим ему холопом. Культурно-психологический курьёз, он ждёт руки художника, но как передаточный пункт идей и преданий, как посредник «двух веков», готовых поссориться, он занимает видное место и в истории нашего общества.

Дети людей этого рода воспитывались в их преданиях, но не под их влиянием. Они наследовали многие из идей, убеждений, взглядов, привычек своих отцов, но не наследовали их вкусов, чувств и отношений к окружающему и не наследовали потому, что выросли и начали действовать под другими впечатлениями. К тому времени, когда они начали учиться, в воспитании знатного русского юношества произошёл решительный перелом. Со времени французской революции в Россию наехало множество французских эмигрантов, кавалеров, графов, маркизов, аббатов, роялистов и католиков, даже иезуитов, которые, принявшись за воспитание молодых русских дворян, начали вытеснять гувернёров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах. Новые педагоги принесли с собою свою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; ещё важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями. Они не только поддерживали, но и усилили в питомцах интерес к политическим вопросам, восставшая против демократических понятий, какие распространяли педагоги старого, дореволюционного привоза. Несомненно, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлечённые идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеалами с политической окраской, обрести живую плоть. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами. Политические события указали направление и цель пробуждённым стремлениям. Дети людей Екатерины века, защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных

НАСЛЕДИЕ

полях, должны были с оружием в руках стать против той самой Франции, которая для отцов многих из них была «отечеством сердца и воображения». Эта борьба приподняла их дух. Перед их глазами пронесли великие события, которые решали судьбы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков «на сто лет вперёд». Толкая об отечестве вокруг бивачных костров на полях Прейсиш-Эйлау, Бородина, Лейпцига и под стенами Парижа, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием узнали, что Россия — единственная страна, в которой образованнейший и руководящий класс пренебрегает родным языком и всем, что касается родины. Потом ещё с большею скорбью они убедились, что в русском народе таятся могучие силы, лишённые простора и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, нуждающиеся в разработке, без чего всё это вянет, портится и может скоро пропасть, не принёсши никакого плода в нравственном мире. С этой минуты они круто и прямо повернулись лицом к русской действительности, к которой отцы старались поставить их спиной, как стояли сами. Отцы не знали её и игнорировали; дети продолжали не знать её, но перестали игнорировать.



Но с минуты этого поворота люди, его сделавшие, разошлись и пошли различными путями. Одни пошли прямо вперёд с нервной отвагой. Мысль «о зле существующего порядка и о возможности его изменения» стала исходной точкой всех их дум и размышлений. Но они смотрели на окружающее сквозь призму патриотической скорби, сменившей космополитическое равнодушие отцов, а в этой призме явления отражались

под значительным углом преломления. Это мешало разглядеть достижимые цели, взвесить наличные средства, предусмотреть последствия. Они надеялись одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об неё. Последствием удара было собственное крушение.

Другие пошли стороной, осторожно вглядываясь вдаль и озираясь вокруг. Они также питали много надежд и иллюзий, желали деятельности и готовились к ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы применить в отечестве. Но ещё до 1812 года они стали замечать, что преобразовательное движение, смело начатое правительством, тормозится чем-то таким, что не зависит ни от Сперанского, ни от Аракчеева, ни от чьей личной воли. Вглядываясь ближе, они увидели, что это была та же скала, или «грубая толща», как называл Сперанский русскую действительность, которая никак не хотела сдвинуться с места, как её ни толкали. Они так же знали и понимали её, как и другие, но они живее других почувствовали её размеры и устойчивость, чувствовали и то, что они ничего с ней не могут сделать, что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки, какими обладали они и их отцы, что надобно переучиваться и перевоспитываться. Это было тоже крушение, только не силы, плохо рассчитавшей своё действие, а веры, поддерживавшей деятельность. Причиной крушения было открытие, что не во всём можно извернуться чужим умом и опытом, что если глупо вновь изобретать машину, уже изобретённую, то ещё глупее жителю севера заимствовать костюм южанина, что нужно приминиться к среде, а для этого необходимо изучать её и потом уже преобразовывать, если она в чём окажется неудобной. Этим открытием разрушалось целое миросозерцание, воспитанное рядом поколений, привыкших сибаритски смотреть на Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вкусов,

приличий, знаний, идей, нужных России, и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие. Тогда люди, сделавшие это открытие, впали в уныние или нравственное оцепенение и опустили руки. После, оправившись от столбняка, одни из них стали кое-как прилаживаться к русской действительности и даже явились дельцами в царствование Николая, другие произнесли над ней отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения, третьи просто принялись изучать её в подробностях.

Совершенно особенным образом действовала патриотическая скорбь одних и уныние других на их младших братьев, которые по молодости лет не принимали участия в военных делах 1812–1814 гг. и не были вовлечены в Движение, закончившееся катастрофой 14 декабря. Они проходили школу тогдашнего столичного света с его показным умом, заученными приличиями, заменявшими нравственные правила, и с любезными словами, прикрывавшими пустоту общежития, как описала его в 1812 году г-жа Сталь. Эта школа давала много пищи злословию, вырабатывала «насмешку с желчью пополам», но не приучала ни к умственному труду, ни к практической деятельности, напротив, отучала от того и другого, всего же более располагала к скуке. На наклонности, воспитанные такою школой, ложились чувства старших братьев, патриотическая скорбь одних, уныние других. Но то были накладная скорбь, наносное уныние; то и другое чувство в младших рядах поколения не было непосредственным житейским впечатлением, получалось из вторых рук. Из смещения столь разнородных влияний и составилось сложное настроение, которое тогда стали звать *разочарованием*. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. Здесь были и запас схваченных на лету идей с приправой мысли об их ненужности, и унаследованное

от вольнодумных отцов брюзжанье с примесью скуки жизнью, преждевременно и бестолково отведенной, и презрение к большому свету с неумением обойтись без него, и стыд безделья с непривычкой к труду и недостатком подготовки к делу, и скорбь о родине, и досада на себя, и лень, и уныние — весь умственный и нравственный скарб, унаследованный от отцов и дедов и прикрытый слоем острых или гнетущих чувств, внушённых старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился *Евгений Онегин*. Так я понимаю его — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудаков. В 1822 году, когда он начал писать свой роман, было много и решившихся на всё, и нерешительных патриотов, но разочарованные ещё не бросались в глаза, как после 1825 года.

Такова родословная Онегина. Его предки — люди из дворянства, служившего проводником светского образования и органом управления. Это исключительные люди, которых слишком быстрая смена направлений образования и не всегда удачная его постановка ставила в неправильное положение. Сперва потребовалось школьное латинское образование, но под церковным руководством с целью оградить правосмыслие. Но многим получившим такое образование приходилось действовать там, где требовалась уже военно-техническая выучка, которой усиленно и подвергалась дворянская молодёжь в царствование

НАСЛЕДИЕ

Петра I. Многим получившим и такую выучку пришлось действовать в обществе, в котором служебные успехи много зависели от степени светской выправки и литературного образования служащего лица. Но эта выправка и это образование скоро получили такое ненормальное развитие, которое прививало идеи и вкусы, непригодные для государственной и земской деятельности дворянства, расширенной реформами Екатерины II. Тогда и образование высшего дворянства стало получать политическое направление и становилось ближе к русской действительности, к положению управляемого общества. Но такое образование при содействии унаследованных преданий и наклонностей и новых влияний сделало одних нетерпеливыми новаторами, хотевшими всё перестроить разом, других — нерешительными пессимистами, не знавшими, что делать, а третьих повергло в настроение, лишившее их способности и охоты делать что-либо. Эти последние — наши Онегины. С этими людьми, мелькавшими в русском обществе в 1820-х и 1830-х годах, такое настроение и умерло.

Но я слишком долго задержал ваше внимание на личных и исторических воспоминаниях. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.

